М. МЕРЛО-ПОНТИ

О ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЯЗЫКА[x]

---

x

I. Гуссерль и проблема языка

Именно потому, что проблема языка не принадлежит в философской традиции к первой философии, Гуссерль подходит к ней более свободно, чем к проблемам восприятия и познания. Он выдвигает её на центральное место, и то немногое, что им здесь сказано, оригинально и загадочно.

Эта проблема поэтому лучше, чем какая-либо другая, позволяет понять феноменологию, и не только пройти по следам Гуссарля, но продолжить начатое им дело, вновь обратиться если не к его положениям, то к движению его мысли.

Поразителен контраст между некоторыми старыми и новыми его текстами. В 4-й части " Логических исследований" Гуссерль выдвигает идею эйдетики языка и универсальной грамматики, которая зафиксировала бы формы значения, необходимые для всякого языка, если это настоящий язык, и позволила бы с полной ясностью мыслить эмпирические языки как " потускневшие" реализации сущностного языка. Эта идея предполагает, что язык есть один из объектов, суверенно устанавливаемых сознанием, а действительные языки - весьма частные случаи потенциального языка, тайна которого кроется в этом сознании, - системы знаков, привязанных к своему значению посредством однозначных соотношений, допускающих как по своей структуре, так и по своему функционированию возможность полного объяснения. Выступая таким образом в качестве объекта для мысли, язык в свою очередь сможет играть лишь роль аккомпанемента, субстрата, опоры для памяти или второстепенного средства коммуникации.

В последних текстах язык предстает, напротив, как самобытный способ видения определенных объектов, как корпус мысли

/ " Формальная и трансцендентальная логика" /[1]/ или даже как действие, посредством которого мысли, оставшиеся бы иначе частными феноменами, приобретают интерсубъективную ценность и в конечном счете - идеальное существование /"Происхождение геометрии"/[2]/.

Философская мысль, рассматривающая язык, начинает отныне пользоваться благами, будучи заключены и расположена в нем. Пос определяет феноменологию языка не как попытку вновь вместить существующие языки в рамки эйдетики всякого возможного

I/ " Но оно /значение/ расположено не вне, не помимо слов; напротив, в своей речи мы постоянно совершает внутреннее сплавляющееся со словами, одновременно одухотворяющее их мыслительное полагание. Результат этого одухотворения в том, что слова и целые речи одновременно воплощают в себе как в теле некоторое мыслительное полагание / / и, воплотив его, носят его в себе как смысл".

2/ " Объективное здесь - бытие " в мире", которое как таковое доступно каждому, может однако в конечном счете обладать духовной объективностью смыслового образа лишь посредством двухплановых повторений, и прежде всего - чувственно воплощающих. В чувственном воплощении происходит " локализация" и "темпоральизация" того, что по своему бытийному смыслу не- местно и не- временно... Мы спрашиваем теперь:... Каким образом языковое воплощение преобразует чисто внутрисубъективный образ, мысль в объективный, который, как например, геометрическое понятие или фраза, фактически понятен для каждого и во всяком будущем времени?"/

1939, стр. 210/.

языка, то есть объективировать их перед лицом универсального и вневременного конструктивного сознания, но как возвращение к говорящему субъекту, к моему контакту с языком, на котором я говорю. Ученый, наблюдатель видят язык в прошлом. Они рассматривают долгую историю языка со всеми случайностями, со всеми переходами смысла, которые сделали язык к конечном счете тем, чем он является сегодня.

Поскольку язык есть производное стольких случайностей, становится непонятным, как он может вообще обозначать что бы то ни было без двухсмысленности. Принимая язык как совершившийся факт, отложение прошлых сигнификативных актов, регистрацию уже достигнутых значений, ученый неизбежно теряет собственную ясность речи, богатство выражения. С феноменологической точки зрения, то есть для говорящего субъекта, который пользуется языком как средством общения с современным обществом, язык вновь обретает свое единство: он уже не результат хаотического прошлого, независимых лингвистических фактов, но система, все элементы которой служат единому усилию выражения, направленному на настоящее или будущее и, следовательно, управляемому актуальной логикой.

Таков отправной пункт и таков конечный вывод Гуссерля в том, что касается языка. Мы хотели бы теперь представить на обсуждение некоторые положения относительно феноменологии языка, которая имплицируется этой феноменологической философией.

II. Феномен языка

I. Язык и речь. Можем ли мы просто сопоставить две перспективы языка, которые мы только что различили,- язык как

объект мысли и язык как мой? Это то, что сделал, например, Соссюр различив синхроническую лингвистику речи и диахроническую лингвистику языка, несводимые друг на друга, потому что панхроническая точка зрения неизбежно стирает оригинальность настоящего. Таким же образом и Пос ограничивается поочередным описанием объективного подхода и феноменологического подхода, ничего не говоря об их взаимоотношении. Но тогда можно было бы считать, что феноменология отличается от лингвистики лишь таким же образом, как психология отличается от науки о языке: феноменология, по- видимому, добавляет к познанию языка наш внутренний опыт языка, подобно тому, как педагогика добавляет к познанию математических понятий опыт того, что происходит в сознании усваивающих эти понятия. Опыт речи не может в таком случае сообщить нам ничего поучительного о бытии языка, он как бы не имеет онтологической значимости.

Но как раз это невозможно. Различив рядом с объективной наукой языка феноменологию речи, мы выставляем диалектику, посредством которой две эти дисциплины вступают во взаимосвяз

Прежде всего, " субъективная" точка зрения заключает внутри себя " объективную" точку зрения; синхрония заключает внутри себя диахронию. Прошлое языка началось с того, что оно было настоящим; обнаруживаемая объективной перспективой серия случайных лингвистических фактов воплотилась в языке, который в каждый данный момент был системой, обладающей внутренней логикой. Если таким образом при рассмотрении в поперечном разрезе язык есть система, необходимо, что бы он был системой также и в своем развитии. Соссюр напрасно подчеркивал дуальность перспектив, его последователи были вынуждены выдвинуть опосредствующий принцип в лице "сублингвистической схемы" / Гюстав Гийом /.

В некотором ином отношении диахрония заключает внутри себя синхронию. Если при рассмотрении в продольном разрезе язык полон случайностей, необходимо, чтобы система синхронии в каждый данный момент была полна лакун, в которые может вторгнуться иррациональное событие.

Перед нами встает тем самым двойная задача.

а/ Нам надо найти смысл в составлении языка, постичь его как равновесие в движении. Например, зная, что некоторые формы выражения стираются по той единственной причине, что они уже многократно использовались и потеряли свою " выразительность", мы не должны показать, как создавшиеся в результате этого лакуны или слабые пункты побуждают говорящих субъектов в их стремлении к эффективной коммуникации возвращаться путем регрессии к отброшенным системой лингвистическим окаменелостям, используя их в в соответствии с новым принципом. Так в языке зарождается новое выразительное средство, и упрямая логика преодолевает влияние изношенности форм и самое летучесть языка. Так на смену латинской системе выражения, основанной на склонении и изменениях флексии, пришла французская система выражения, основанная на предлоге.

б/ Но соответственно этому мы должны понять, что поскольку синхрония есть лишь поперечный разрез через диахронию, реализованная в ней система никогда не бывает актуирована вся, она всегда полна латентных изменений, она всегда в процессе внутреннего развития, она никогда не построена из абсолютно однозначных смыслов, которые можно было бы эксплицировать полностью с точки зрения прозрачности формирующего сознания. Речь идет, по- видимому, не о системе форм значений, ясно подразделенных одно рядом с другим, не о здании языковых идей и образов,

построенном по строгому плану, но о совокупности конвергентных лингвистических жестов, каждый из которых поддается определени не столько по своему значению, сколько по своей значимости при практическом использовании. Не только частные языки предстают как" потускневшая" реализация определенных форм идеальных и универсальных значений, но даже сама возможность подобного синтеза становится проблематичной. Универсальность, если она будет достигнута, осуществится не благодаря универсальному языку, который, поднявшись выше различия языков, представит нам основу каждого возможного языка, но благодаря косвенному переходу от того или иного языка, на котором я говорю и который впервые вводит меня в феномен выражения, к какому-то другому языку, на котором я учусь говорить и который осуществляет акт выражения в совершенно ином стиле; причем два языка, и в конце концов любой из существующих языков, не могут быть подвергнуты сравнению иначе, как в своем конечном результате или целостности, без того, чтобы кому-то удалось распознать в них общие элементы единой категориальной структуры.

Поэтому мы никак не можем поставить рядом психологию языка, предоставив первой язык в настоящее время, а второй- язык в прошлом. Настоящее диффундирует в прошлое, поскольку прошлое в свою очередь было настоящим, история есть история последовательных синхроний - и случайности языкового прошлого вторгаются в синхроническую систему. Феноменология языка научи меня не только психологическому курьезу: с учетом подсказанных ею особенностей язык лингвистов во мне - это новая концепция сущности языка, который предстает теперь как логика в потоке случайного, направленная и ориентированная система, которая однако непрестанно порождает неожиданности, впадает

в произвольность внутри общего целого, которое имеет смысл,- воплощенная логика.

2. Квази-телесность обозначающего. Возвращаясь к разговорному или живому языку, мы обнаруживаем, что его выразительная значимость не есть сумма выразительных значимостей, которые в свою очередь принадлежали бы каждому элементу " словесной цепи". Напротив, они образуют систему в синхронии в том смысле, что каждый из них означает лишь свое отличие по отношению к другим,- знаки, говорит Соссюр, по своему существу "диакритичны". И поскольку это справедливо в отношении каждого знака, в языке имеются лишь различия значений. Если в конечном счете язык что-то значит и что-то говорит, это не потому, что каждый знак несет значение, которое ему как бы принадлежит, но потому, что все они вместе намекают на определенное значение, которое всегда ускользает, когда мы рассматриваем знаки отдельно один за другим, и в стремлении к которому я выхожу за их пределы, никогда не заключающие этого значения вполне. Каждый из знаков способен к выражению лишь благодаря своей соотнесенности с определенным мыслительным инструментарием, с определенным функционированием наших культурных орудий, и все вместе они подобны чистому бланку, который еще не заполнен, или жестам другого человека, указывающим и очерчивающим некий предмет мира, невидимый мне.

Речевая способность, которую усваивает изучающий свой язык ребенок, не есть сумма морфологических, синтаксических и лексических значений: эти знания и не необходимы, и недостаточны для овладения языком, причем однажды усвоенный речевой акт не предполагает никакого сравнения между тем, что я хочу выразить, и понятийным устройством используемых мною

выразительных средств. Необходимые для выражения моей осмысленной интенции слова, обороты, предстают мне в процессе речи лишь со стороны того, что Гумбольт называл " внутренней языковой формой" / и что теперь называют " словесным понятием"/, то есть со стороны определенного стиля речи, окрашивающего их и организующего их, причем для меня нет никакой необходимости представлять себе эти слова и обороты. Есть "языковое" значение языка, которое служит посредником между моей еще немой интенцией и словами, таким образом, что мои слова оказываются неожиданными для меня самого и показывают мне мою собственную мысль.

Организованные знаки имеют свой имманентный смысл, который свидетельствует не о " я мыслю", но о " я могу".

Это действие, протекающее в определенной дистанции от языка и восходящее к значениям, не сливаясь с ними, эта выразительность, которая всегда детерминирует смысл, никогда однако не превращаясь в слова, нарушившие бы тишину сознания,- выдающийся случай телесной интенциональности. Я обладаю четким сознанием диапазона моих жестов или пространственных положений моего тела и это сознание позволяет мне поддерживать отношения с миром, не показывая мне однако объектов, которыми я собираюсь овладеть , или размер соотношений между моим телом и простором для движений, который предоставляет мне мир. При условии, что я явным образом не рефлектирую в моем теле, доступное мне сознание этого тела служит непосредственным обозначением определенной окружающей меня обстановки, подобно тому как от своих пальцев я получаю непосредственное знание об определенном, например, волокнистом или зернистом, стиле предмета. Таким же образом речь,

как я её произношу или слышу, насыщена значением, которое можно прочесть в самой ткани лингвистического жеста, с такой степенью точности, что небольшое колебание, изменение голоса, выбор определенного синтаксиса достаточен для его модификации; но это значение никогда не содержится в языковом жесте, так что всякое выражение предстает мне в виде некоего отпечатка, всякая мысль дается мне как просвечивающая в этом отпечатке, и всякая попытка осязаемо схватить мысль, живущую в слове, оставляет в наших руках лишь горстку словесного материала.

3. Отношение обозначающего и обозначаемого. Седиментация.

Если речь можно сравнить с жестом, то выражаемое ею будет стоять к ней в таком же отношении, в каком объект стоит к жесту, указывающему на нее, и наши замечания о функционировании обозначающего аппарата уже будут предполагать определенную теорию выражаемого словом значения. Но телесное указывание объектов моего окружения имплицитно и не предполагает никакой тематизации, никакой " репрезентации" моего тела или окружения. Значение одушевляет речь, как мир одушевляет мое тело: неким немым присутствием, которое пробуждает мои интенции, не развертываясь перед ними. Сигнификативная интенция во мне / равно как и в моем слушателе , который воспроизводит ее, понимая меня/ есть в данный момент, даже если она должна затем принести в качестве своего плода " мысль", не более как " разграниченный вакуум", ожидающий своего заполнения словами, через добавление того, что я хочу сказать, к тому, что уже имеется или что уже было сказано. Это означает:

а/ что значения речи суть всегда идеи в кантовском смысле,

полюса определенного количества конвергентных выразительных актов, которые намагничивают речь, не будучи однако в собственном смысле сами по себе даны; б/ что следовательно, выражение никогда не полно. Как замечает Соссюр, мы обладаем ощущением, что наш язык выражает все полностью. Но он наш не потому что он выражает все полностью; наоборот, именно поскольку он наш, мы верим, что он выражает все полностью. для англичанина есть столь же полное выражение, как для нас - "человек, которого я люблю". И французское , для русского, который может при помощи склонения специально обозначить функцию прямого дополнения, покажется совершенно недостаточной манерой выражения, всего лишь каким-то намеком. Таким образом, в выражении всегда есть момент подразумевания,- или, скорее, надо отбросить понятие " подразумевания": оно имеет смысл лишь в том случае, когда мы берем в качестве модели и абсолюта выражения тот или иной язык / обычно наш /, кото рый по сути дела, как и все другие, никогда не может привести нас " словно за руку" к значению, к самим вещам. Поэтому не будем говорить, что всякое выражение несовершенно, поскольку к нем всегда нечто лишь подразумевается; скажем так: всякое выражение совершенно в той мере, в какой оно понимается без двусмысленности, и допустим как фундаментальный факт всякой выраженности преобладание означаемого над означающим, что делается возможным благодаря самому свойству означающего, в/ Этот акт выражения, это трансцендирующее соединение лингвистического смысла слова со значением, на которое слово ориентировано - это для нас, говорящих субъектов, не вторичная операция, к которой мы прибегаем как бы лишь для сообщения окружающим своих мыслей, а наше вступление в обладание смыслом,

обладание

усвоение нами значений, которые иначе предстоят нам лишь неясным образом. Если тематизация означаемого не предшествует речи, то это потому, что оно есть результат речи.
Поясним это третье следствие.

Выражать себя для говорящего субъекта - значит осознавать; он прибегает к выражению не только для других, благодаря этому выражению он сам познает то, на что направлена его мысль. Если речь служит воплощению сигнификативной интенции, которая есть лишь " разграниченный вакуум", то это делается не просто для того, чтобы воспроизвести в другом тот же недостаток, то же лишение, но также и для того, чтобы узнать, чего здесь не достает, и какого рода это лишение. Как речь достигает подобного результата? Сигнификативная интенция подчиняет себе тело и познает сама себя, подыскивая себе эквивалент в системе доступных наличных значений, составляющих язык, на котором я говорю, включая совокупность письменных памятников и культуры, наследником которых я являюсь. Бессловесное воление, каким является сигнификативная интенция, должно произвести определенную аранжировку уже значущих орудий или уже говорящих значений / морфологических, синтаксических, лексических инструментов и приёмов, литературных жанров, типов стиля, способов представления события и т.д./, которые пробуждают в слушателе предчувствие иного и нового значения, и наоборот, в говорящем или пишущем производят закрепление еще не высказанного значения в уже имеющиеся налицо выражения. Но почему,как, в каком смысле они уже имеются? Они стали ими, когда они, в свою очередь, были учреждены, институированы как значения, к которым я могу прибегнуть, которыми я обладаю,- в результате экспрессивной операции такого же рода, как и осуществляемая теперь

мною. Следовательно, именно имеющиеся налицо выражения надо описать, если я хочу понять силу и значимость слова.
Я понимаю или думаю, что понимаю слова и формы французского языка; я накопил определенную опытность в литературных и философских средствах выражения, которые мне предлагает данная культура. Я осуществляю выражение, когда, используя все эти говорящие орудия, я заставлю их сказать нечто такое, чего они еще никогда не говорили. Мы начинаем читать философа, придавая используемым им словам их " обычный" смысл, но мало-помалу, благодаря сперва незаметному перевороту, его речь овладевает его языком, причем в конечном счете именно то, как он употребляет слова, придает им новое и характеризующее лишь этого философа значение. Начиная с этого момента, философ дал понять себя, и смысл его языка утвердился во мне. Говорят, что мысль выражена, когда лучи сходящихся к ней слов достаточно многочислены и достаточно красочны, чтобы недвусмысленно означить эту мысль для меня, автора, или для других, и чтобы передать нам полное ощущение ее телесного присутствия в слове. Хотя тематически даны лишь / оттенки/ значения, суть в том, что после какого-то момента развертывания эти , взятые в своем движении, вне которого они суть ничто, внезапно загустевают в единое значение; мы ощущаем, что нечто сказано, подобно тому, как за пределом какого-то минимума чувственных знаков мы воспринимаем нечто, хотя в принципе объяснение любой вещи может идти до бесконечности; или подобно тому, как, пронаблюдав определенное число поступков, мы начинаем благодаря им понимать кого-то, хотя, по размышлении, никто, помимо меня самого, не может в действительности

и в том же самом смысле быть " эго "... Последствия речи, как и последствия восприятия / и в особенности восприятия другого человека/, всегда выходят за свои рамки. Мы сами, ~~кто~~ говорящие, всегда знаем выражаемое нами не лучше, чем наши слушатели. Я говорю, что " знаю идею", когда во мне образовалась способность организовать вокруг этой идеи речевые выражения, образующие связной смысл; и самая эта моя способность зависит не от того, что я обладаю данной идеей и созерцаю ее лицом к лицу, но от достижения мною определенного стиля мысли. Я говорю, что то или иное значение достигнуто и отныне наличнс когда мне удалось заставить это значение жить в некоем речевом облачении, которое не было изначально к тому предназначено. Понятно, что элементы этого выразительного облачения в действительности не содержали сами по себе этой мысли: французский язык при своем образовании не заключил в себе французской литературы; мне пришлось сместить и изменить центры их притяжения, чтобы заставить их выражать то, что я имел в виду. Именно эта " связная деформация" / А.Мальро/ наличных значений организует их для нового смысла и позволяет слушателям, а также и самому говорящему субъекту, сделать решительный шаг. Ибо теперь подготовительные стадии выражения,- первые страницы книги,- заново перечитываются в свете окончательного смысла и сразу предстают производными этого смысла, отны не утверждающего себя в культуре. Говорящему субъекту /равно как и всем другим/ будет отныне дано идти непосредственно к целому, уже не будет необходимости каждый раз вновь воспроизводить тот же процесс, он будет вполне доступен теперь в своем конечном результате, будет основана личная и межличностная традиция.

/" результативное достижение"/
освобожденный от неуверенности /"достижения",
сосредотачивает демарш последнего в единой картине, происходит седиментация, и я могу отныне думать о моем следующем шаге. Речь в своем отличии от языка есть та точка, где пока еще немая и вся поглощенная в своем акте сигнификативная интенция обнаруживает свою способность войти в культуру, мою и окружающим меня людей, оформить и меня и их, трансформировав смысл существующих орудий культуры. Речь в свою очередь становится " наличной", поскольку она дает нам задним числом иллюзию того, что она содержалась в уже наличных значениях, тогда как благодаря некоей " хитрости" она сочеталась с ними лишь для того, чтобы влить в них новую жизнь.